

Глава первая

Признаюсь, что, познакомившись с Чарльзом Стриклендом, я не заметил ничего, что выделяло бы его из общей массы. Зато в наше время мало кому придет в голову отрицать, что он великий человек. Я не имею в виду величие преуспевающего политика или удачливого военачальника: оно в большей степени связано с занимаемым местом, чем с самим человеком, и часто изменение обстоятельств доводит его до весьма скромных размеров. Вне своего кабинета премьер-министр часто выглядит всего лишь напыщенным краснобаем, а генерал без армии — персонажем ярмарочного представления. Величие Чарльза Стрикленда было настоящим. Возможно, вы не станете поклонником его живописи, но равнодушны к ней не останетесь. Его картины волнуют, от них трудно оторвать взгляд. Прошло то время, когда он был предметом насмешек, и теперь нет необходимости защищать его эксцентричность, и не считается извращенностью его превозносить, а к недостаткам стали относиться как к естественному продолжению достоинств. Споры о месте Стрикленда в искусстве, однако, не прекращаются, и неумеренная хвала

поклонников раздражает не менее, чем пренебрежительное отношение недоброжелателей. Одно несомненно: в его лице мы имеем гения. Мне кажется, самое интересное в искусстве — личность художника, и если она уникальна, можно простить ему тысячу просчетов. На мой взгляд, Веласкес превосходит в мастерстве Эль Греко, но к нему привыкаешь, и привычка притупляет чувство восхищения: критянин же, чувственный и трагический, раскрывает вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант дарит нам эстетическое наслаждение своим искусством, возвышенным или прекрасным; но оно сходно с сексуальным удовлетворением и его дикой избыточностью: автор выставляет напоказ самого себя. Разгадывание его секрета увлекательно, как распутывание детективной истории. Но ответа вы не получите, как и разгадку мироздания. Даже самые незначительные произведения Стрикленда говорят о нем как о личности необычной, страдающей и сложной, и именно это не дает возможности тем, кто не любит его картины, оставаться равнодушными, возбуждая жгучий интерес к его личности и судьбе.

Не прошло и четырех лет со смерти Стрикленда, как Морис Гюре написал знаменитую статью в «Меркур де Франс», вызвавшую неизвестного художника из забвения и проложившую тропу, по которой далее следовали с большим или меньшим успехом другие писатели. В течение долгого времени Гюре считался в этом вопросе неоспоримым авторитетом, его заявления, хоть и казались экстравагантными, не могли не про-

известии на публику впечатления, последующие изыскания лишь подтвердили его правоту, и репутация Чарльза Стрикленда прочно укрепилась на фундаменте, заложенном первым исследователем. Зарождение славы этого художника — один из наиболее романтических эпизодов в истории искусства. Но я не стану касаться картин Чарльза Стрикленда, если только они не характеризуют его личность. Я не разделяю мнение тех художников, которые высокомерно заявляют, что любители ничего не понимают в живописи и лучше всего таким людям молчать с умным видом или оценивать произведение искусства с помощью кошелька. Огромная ошибка — видеть в искусстве только мастерство, доступное лишь профессионалам: искусство — яркое проявление чувств, а этот язык понятен всем. Но я допускаю, что критик, не обладающий познаниями в живописной технике, редко может сказать что-то стоящее, а мое невежество в этом вопросе вопиюще. К счастью, мне нет нужды пускаться в такую авантюру, так как мой друг, мистер Эдвард Леггат, одинаково наделенный талантом как в литературе, так и в живописи, дал исчерпывающий анализ творчества Чарльза Стрикленда в небольшой книге, изумительной по стилю, который, по несчастью, больше присущ французскому перу, нежели английскому.

В своей знаменитой статье Морис Гюре прочертил жизненный путь Чарльза Стрикленда довольно кратко — возможно, с целью пробудить в читателях интерес к подробностям. Одержимый бескорыстной любовью к искусству, он страстно

желал привлечь внимание сведущих людей к таланту в высшей степени оригинальному, но, будучи хорошим журналистом, понимал, что легче достигнет своей цели, если использует «человеческий интерес». И когда люди, встречавшиеся со Стриклендом в прошлом: писатели, знавшие его по Лондону, художники, проводившие с ним время в кафе на Монмартре, обнаружили, к своему удивлению, что тот, в ком они привыкли видеть неудачливого собрата, вдруг оказался подлинным гением, тогда-то и стали появляться во французских и американских журналах в большом количестве статьи с воспоминаниями о Стрикленде и его творчестве; раздувая популярность художника, они еще больше разжигали любопытство публики. Тема была благодарная, и трудолюбивый Вейтбрехт-Ротолц в своей внушительной монографии привел впечатляющий список авторитетных источников.

Человеческая раса имеет склонность к мифотворчеству. Она с жадностью смакует все необычные и таинственные случаи из жизни тех, кто выделился из среды себе подобных, складывает о них легенды, а затем истово верит в них. Понятен этот романтический протест против серости жизни. Герою легенды уготован пропуск в бессмертие. Ироничный философ с улыбкой отметит, что сэр Уолтер Рэли навечно вошел в память потомков не тем, что присвоил английские названия до того неизвестным странам, а тем, что бросил свой плащ Елизавете под ноги, дабы королева-девственница их не замочила. Чарльз Стрикленд жил неприметно. У него было больше врагов, чем друзей. Поэто-

му нет ничего удивительного в том, что писавшие о нем раскрашивали свои скудные воспоминания яркой фантазией, хотя и в том достоверном, что известно о нем, есть шанс отыскать романтические моменты: жизнь обошлась с ним достаточно жестоко, характер был странный и скверный, а судьба чинила много препятствий. Со временем легенда обрела такую основательность, что разумный историк не решился бы на нее посягнуть.

Но преподобного Роберта Стрикленда трудно причислить к разумным историкам. Он написал биографию отца с конкретным намерением «убрать некоторые неточности, получившие в обществе широкое распространение» в отношении последнего периода жизни художника, которые «причиняют боль и поныне живущим людям». Действительно, многое из того, что писалось о жизни Стрикленда, могло шокировать членов уважаемого семейства. Книга сына меня от души развлекала, с чем я могу себя поздравить, потому что в целом она настоящая тягомотина. Стрикленд предстает там образцовым мужем и отцом, добряком, трудягой и высоконравственным человеком. На мой взгляд, современный священнослужитель довольно преуспел в науке, которая, кажется, именуется экзегезой¹, а ловкость, с какой преподобный Роберт Стрикленд «интерпретировал» факты из жизни отца в духе, какой и приличествует покорному сыну, убедила меня в том, что со временем он высоко поднимется в церковной иерархии. Я так и вижу на его мускулистых икрах епископ-

¹ Толкование текста, особенно священного.

ские чулки. Поступок преподобного был смелым, но рискованным. Легенда, возможно, способствовала росту популярности художника, ведь многих влекло к искусству Стрикленда неприятие его личности или даже отвращение к ней, а других — сострадание к его ужасному концу. Благие намерения сына несколько охладили пыл почитателей. Вскоре после выхода новой биографии Стрикленда и вызванных ею споров одна из самых значительных работ художника «Самарянка» была продана на аукционе Кристи на 235 фунтов дешевле, чем девятью месяцами ранее, когда ее приобрел известный коллекционер, из-за внезапной смерти которого картина вновь пошла с молотка. Возможно, даже всей мощи и оригинальности Чарльза Стрикленда не достало бы, чтобы повернуть колесо фортуны в свою сторону, если б не мифотворческая способность человечества, откинувшая с негодованием версию, не утолявшую его жажду необычного. А тут еще вышла в свет книга доктора Вейтбрехта-Ротолца, развеявшая опасения всех любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротолц принадлежит к той школе историков, которые убеждены, что человеческая природа не просто порочна, а безмерно порочна, потому читатель и получает от их книг гораздо больше удовольствия, чем от книг историков, злонамеренно выставляющих великих романтических героев средоточием домашних добродетелей. Со своей стороны могу сказать, что меня расстроило бы, если б между Антонием и Клеопатрой не было никаких других отношений, кроме экономических; и потребуется гораз-

до больше доказательств, чем, хвала богу, могут предоставить историки, чтобы доказать мне, что Тиберий был столь же безгрешен и благонамерен, как король Георг V. Доктор Вейтбрехт-Ротолц до такой степени разнес в пух и прах целомудренную биографию преподобного, что трудно не испытать жалость к незадачливому священнику. Его пристойная сдержанность приравнивалась к лицемерию, уклончивое многословие — ко лжи, умолчание — к предательству. И на основании погрешностей, достойных порицания у обычного автора, но простительных сыну, вся англосаксонская раса обвинялась в ханжестве, жульничестве, претенциозности, коварстве и нечистоплотности. Лично я считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда, решив опровергнуть слухи о «размолвках» между отцом и матерью, привел строки из написанного в Париже письма Чарльза Стрикленда, в котором он говорит о жене как о «порядочной женщине», ибо доктор Вейтбрехт-Ротолц опубликовал факсимиле письма, где этот отрывок приводится полностью: «Черт бы побрал мою жену. Она порядочная женщина. Гори она в аду». Надо сказать, что церковь в свои лучшие дни поступала с неудобными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротолц был горячим поклонником Чарльза Стрикленда, и не было никакой опасности, что он примется его обелять. Доктор зорко подмечал низменные мотивы внешне благопристойных действий художника. К тому же он был не только знатоком искусства, но и психопатологом и хорошо разбирался в мире подсозна-

тельного. Ни один мистик не смог бы сравниться с ним в умении прозревать скрытый смысл в обыденном. Мистику доступно невыразимое, психопатологу — несказанное. Было особое наслаждение следить за тем рвением, с каким ученый автор выискивает обстоятельства, могущие опорочить его героя. Его сердце усиленно бьется, когда он может вытащить на свет божий очередной пример жестокости или низости, и он захлебывается от восторга, как инквизитор, отправивший на костер еретика, если какая-нибудь забытая история может посрамить сыновнее благочестие преподобного Роберта Стрикленда. Такая работоспособность поражает. Ничто не ускользает от его внимания, и вы можете быть уверены: если Чарльз Стрикленд не оплатил счет прачечной, вам представят об этом полный отчет, а если он не вернул позаимствованные полкроны, от вас не скроют ни одну деталь этого щекотливого дела.

Глава вторая

О Чарльзе Стрикленде написано так много, что мои заметки могут показаться лишними. Подлинный памятник художнику — его творчество. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: познакомился с ним еще до того, как он увлекся живописью, и частенько виделся в те трудные для художника годы, что он провел в Париже. Однако думаю, я никогда не осмелился бы приступить к написанию этих заметок, если б превратности войны не забросили меня на Таити. Как известно, именно там провел Стрикленд последние годы

жизни, и именно там я познакомился с близкими ему людьми. Так что мне предоставлена возможность пролить свет на тот период его трагической жизни, который во многом остается неизвестным. Если правы люди, верящие в то, что Стрикленд великий художник, тогда воспоминания тех, кто знал его лично, вряд ли будут излишними. Чего бы мы ни дали теперь за рассказы того, кто был знаком с Эль Греко так же близко, как я со Стриклендом?

Но я не уверен, что нуждаюсь в этих оправданиях. Не помню, кто именно посоветовал людям для душевного спокойствия делать каждый день две вещи, которые им не по нраву; совету этого мудреца я следую безоговорочно, и потому каждый день встаю с постели и каждый день ложусь в нее. Но в моей натуре есть склонность к аскетизму, и потому я еженедельно подвергаю мою плоть еще более жестокому испытанию: целиком прочитывая литературное приложение к «Таймс». Полезно размышлять об огромном количестве написанных книг, робких надеждах авторов увидеть книги напечатанными и о будущей судьбе писателей и их творений. Велик ли шанс пробиться той или иной книге сквозь эти заслоны? А если успех все же придет, то ненадолго. Бог знает, какие мучения претерпел автор, какой горький опыт пережил, сколько сердечных приступов выдержал — и все для того, чтобы дать возможность читателю немного развлечься или помочь скоротать время в дороге. А ведь, насколько можно судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, их композиция тщательно продумана, а на

некоторые потрачена чуть ли не целая жизнь. Из этого я извлек для себя мораль: писатель должен получать наслаждение от самого процесса творчества, освобождаясь от груза мыслей и оставаясь одинаково равнодушным к хвале и хуле, успеху или провалу.

Пришла война, а с ней и новые взгляды. Юность обратилась к кумирам, о которых мы раньше не слышали, и можно было предположить, в каком направлении двинутся те, кто идет за нами. Молодое поколение, неумное и сознающее свою силу, не стучалось в двери, оно врвалось внутрь и усаживалось на наши места. Воздух сотрясаясь от их крика. Некоторые из старшего поколения, нелепо перенимая повадки молодых, изо всех сил убеждали себя, что их время еще не прошло; они пытались кричать громче всех, но их воинственные кличи казались жалким писком, а сами они напоминали старых распутниц, пытающихся с помощью карандаша, пудры и румян обмануть время. Те, что мудрее, достойно шли своим путем. В их бесстрастной улыбке сквозила насмешка. Они помнили, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли «стариков», и знали, что нынешние отважные, несущие факелы герои тоже впоследствии сойдут с сцены. Последнее слово никто не скажет. Когда Ниневия¹ заявила о своем величии, евангельская благая весть уже давно существовала. Смелые требования, кажущиеся

¹ Во II веке в бывшей столице Ассирии уже проживали христиане, в VI веке были основаны два монастыря, здесь проповедовал Исаак Сирин.

новыми тому, кто их произносит, звучали почти с такой же интонацией сотни раз прежде. Маятник раскачивается туда-сюда. А движение всегда совершается по кругу.

Бывает, кто-то успевает прожить достаточное количество лет не только в своем времени, но и в новой, непонятной для него эпохе, и тогда в человеческой комедии случаются курьезные вещи. Кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А в свою эпоху он был известным поэтом, и мир признавал его гениальным с тем единодушием, какое редко встречается в наше сложное время. Он был учеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы в рифмованных двустишиях. Но потом разразилась Французская революция, последовали наполеоновские войны, и поэты стали слагать новые песни. А мистер Крабб упорно продолжал писать нравоучительные истории в рифмованных двустишиях. Полагаю, он читал стихи молодых поэтов, будораживших публику, но, не сомневаюсь, считал их вздором. Кое-что и правда было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, пара стихов Кольриджа и еще в большей степени Шелли расширили еще неизведанные просторы духа. Однако мистер Крабб был глух как пень и по-прежнему сочинял рифмованные двустишия. Я иногда просматриваю то, что пишут молодые писатели. Возможно, среди них найдется и более пылкий Китс, и возвышенный Шелли, и их имена запомнит благодарное человечество. Здесь я молчу. Меня восхищает отделка их стиля — они так многого достигли в юности, что нелепо говорить, будто они что-то обещают. Восхищает богатство лек-

сики, но, несмотря на словесное изобилие (не могу отделаться от мысли, что они так и родились со словарем Роже в ручонках), их творчество ничего мне не говорит: на мой взгляд, они слишком много знают и слишком поверхностно чувствуют; мне не по душе дружелюбие, с какой они похлопывают меня по спине, эмоциональность, с какой бросаются на грудь. Их страстность кажется мне вялой, их мечты несколько приземленными. Не нравятся они мне. Меня же отправили на полку. Я продолжаю писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями. Но я был бы трижды дураком, если б делал это не только для собственного удовольствия.

Глава третья

Но все это между прочим.

Я очень рано написал первую книгу. По счастливой случайности, она привлекла внимание, и разные люди захотели со мной познакомиться.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературной жизни того Лондона, когда я, поначалу робкий, но полный амбиций, влился в нее. Я давно не бывал в Лондоне, однако, если современные романисты точны в деталях, там многое изменилось. Сместились центры литературной жизни. Челси и Блумсбери заняли место Хэмпстеда, Ноттинг-Хилл Гейта и Хай-стрит в Кенсингтоне. Тогда были редкостью писатели моложе сорока, а теперь те, кто старше двадцати пяти, уже выглядят переростками. В те дни мы с застенчивостью относились к проявлению своих чувств,

и страх показаться смешным смягчал проявления бахвальства. Не думаю, что прежняя богема отличалась чрезмерным целомудрием, но такой сексуальной распушенности, какая, похоже, процветает теперь, и в помине не было. Мы не считали лицемерием в особо пикантные моменты опускать занавес. Подыскивать грубые заменители вещам еще не считалось обязательным. Женщины еще не обрели полностью независимость.

Я жил неподалеку от вокзала Виктории и помню долгие поездки на автобусе к гостеприимным литераторам. Будучи по природе робким, я некоторое время топтался на улице и, только набравшись храбрости, звонил в звонок, и тогда меня, чуть живого от страха, вводили в душную, набитую под завязку комнату. Меня поочередно представляли известным людям, они говорили добрые слова о моей книге, отчего я чувствовал себя очень неловко. Я понимал, что от меня ждут остроумных реплик, но они приходили мне на ум только после окончания вечера. Пытаясь скрыть смущение, я активно передавал по кругу чашки с чаем и уродливо нарезанные бутерброды. Стараясь не привлекать к себе внимания, я незаметно наблюдал за этими небожителями и ловил каждое сказанное слово.

Мне вспоминаются дородные, с крупными носами неприветливые женщины, на которых одежда смотрелась как доспехи, и маленькие, похожие на мышек старые девы с еле слышными голосами и колючими глазками. Я был покорен упорством, с каким дамы, не снимая перчаток, поглощали бутерброды, и с восхищением взирал, как